

Федерико Гарсиа Лорка Цыганское романсеро

Романс о луне, луне *Перевод А. Гелескула*

Луна в цыганскую кузню
вплыла жасмином воланов.
И смотрит, смотрит ребенок,
и глаз не сводит, отпрянув.
Луна закинула руки
и дразнит ветер полночный
своей оловянной грудью,
бесстыдной и непорочной.
– Луна, луна моя, скройся!
Если вернутся цыгане,
возьмут они твое сердце
и серебра начеканят.

– Не бойся, мальчик, не бойся,
взгляни, хорош ли мой танец!
Когда вернутся цыгане,
ты будешь спать и не встанешь.

– Луна, луна моя, скройся!
Мне конь почудился дальний.
– Не трогай, мальчик, не трогай
моей прохлады крахмальной!

Летит запоздалый всадник
и бьет в барабан округи.
На ледяной наковальне
сложены детские руки.

Прикрыв печальные веки,
одни в ночной глухомани,
из-за олив выходят
бронза и сон – цыгане.

Где-то сова зарыдала —
так безутешно и тонко!
За ручку в темное небо
луна уводит ребенка.

Вскрикнули в кузне цыгане,
замерло эхо в горниле...
А ветры пели и пели.
А ветры след хоронили.

Пресьоса и ветер

Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно,
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
бежит тишина в обрывы,
где море в недрах колышет
полуночь, полную рыбы.
На скалах солдаты дремлют
в беззвездном ночном молчанье
на страже у белых башен,
в которых спят англичане.
А волны, цыгане моря,
играя в зеленом мраке,
склоняют к узорным гротам
сосновые ветви влаги...

Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно.
И обортнем полночным
к ней ветер спешит навстречу.
Святым Христофором вырос
нагой великан небесный —
и мех колдовской волынки,
поет голосами бездны.

— О, дай мне скорей, цыганка,
откинуть подол твой белый!
Раскрой в моих древних пальцах
лазурную розу тела!

Пресьоса роняет бубен
и в страхе летит, как птица.
За нею косматый ветер
с мечом раскаленным мчится.

Застыло дыханье моря,
забились бледные ветви,
запели флейты ущелий,
и гонг снегов им ответил.
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир неземного леса
в зарницах нездешней речи...

Пресьоса, полная страха,
бежит по крутым откосам
к высокой, как сосны, башне,

где дремлет английский консул.
Дозорные бьют тревогу,
и вот уже вдоль ограды,
к виску заломив береты,
навстречу бегут солдаты.
Несет молока ей консул,
спешит унять лихорадку
стаканчиком горькой водки,
но ей без того несладко.
Она и словечка молвить
не может от слез и дрожи.

А ветер верхом на кровле,
хрипя, черепицу гложет.

Схватка

В токе враждующей крови
над котловиной лесною
нож альбасетской работы
засеребрился блесною.
Отблеском карты атласной
луч беспощадно и скупое
высветил профили конных
и лошадиные крупы.
Заголосили старухи
в гулких деревьях съерры.
Бык застарелой распри
ринулся на барьеры.
Черные ангелы стелют
снежную пряжу по скалам.
Черными крыльями стынет
сталь с альбасетским закалом.
Монтилец Хуан Антоньо
листом покатылся палым.
В лиловых ирисах тело,
над левой бровью – гвоздика.
И огненный крест венчает
дорогу смертного крика.

Судья с отрядом жандармов
идет масличной долиной.
А кровь змеится и стонет
немою песней змеиной.
– Так повелось, сеньоры,
с первого дня творенья.
В Риме троих недочтутся
и четверых в Карфагене.

Полная бреда смоковниц

и отголосков каленых,
заря без памяти пала
к ногам израненных конных.
И ангел черней печали
тела окропил росой.
Ангел с оливковым сердцем
и смоляною косою.

Сомнамбулический романс

Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.
Ночами, по грудь в тумане,
она у перил сидела —
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Любовь моя, цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
весь мир с нее глаз не сводит —
и только она не видит.

Любовь моя, цвет зеленый.
Скользнули потемки в воду,
серебряный иней звездный
торит дорогу восходу.
Смоковница чистит ветер
наждачной своей листвою.
Гора одичалой кошкой
встает, ошетила хвою.
Но кто придет? И откуда?
Навеки все опустело —
и снится горькое море
ее зеленому телу.

— Земляк, я коня лихого
сменял бы на эту кровлю,
седло — на зеркальце милой
и нож — на край изголовья.
Земляк, я из дальней Кабры
иду, истекая кровью.
— Будь воля на то моя,
была бы и речь недолгой.
Да я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
— Земляк, на стальной кровати
с голландскою простынею
хочу умереть, как люди,
оплаканные роднею.

Не видишь ты эту рану
от горла и до ключицы?
– Все кровью пропахло, парень,
и кровью твоей сочится,
а грудь твоя в темных розах
и смертной полна истомой.
Но я-то уже не я,
и дом мой уже не дом мой.
– Так дай хотя бы подняться
на ту высокую крышу!
К перилам лунного света,
туда, где море услышу.

И поднялись они оба
к этим перилам зеленым.
И след остался кровавый.
И был от слез он соленым.
Фонарики тусклой жестью
блестели в рассветной рани.
И сотней стеклянных бубнов
был утренний сон изранен.

Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
И вот уже два цыгана
стоят у перил железных.
Полыню, мятой и желчью
дохнуло с дальнего кряжа.
– Где же, земляк, она, – где же
горькая девушка наша?
Столько ночей дожидалась!
Столько ночей серебрило
темные косы, и тело,
и ледяные перила!

Из зеркала водяного,
качаясь, она глядела —
серебряный иней взгляда
и зелень волос и тела.
Баюкала зыбь цыганку,
и льдинка луны блестела.
И ночь была задушевной,
как тихий двор голубиный,
когда патруль полупьяный
вбежал, сорвав карабины...
Любовь моя, цвет зеленый.
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
далекий конь в перелеске.

Романс о черной тоске

Петух зарю высекает,
звения кресалом каленым,
когда Соледад Монтойя
спускается с гор по склонам.
Желтая медь ее тела
пахнет конем и туманом.
Груди, черней наковален,
стонут напевом чеканным.
— Кого, Соледад, зовешь ты
и что тебе ночью надо?
— Зову я кого зовется, —
не ты мне вернешь утрату.
Искала я то, что ищут, —
себя и свою отраду.
— О Соледад, моя мука!
Ждет море коней строптивых,
и кто удила закусит —
погибнет в его обрывах.
— Не вспоминай о море!
Словно могила пустая,
стынут масличные земли,
черной тоской порастая.
— О Соледад, моя мука!
Что за тоска в этом пенье!
Плачешь ты соком лимона,
терпким от губ и терпенья.
— Что за тоска!.. Как шальная
бегу и бьюсь я о стены,
и плещут по полу косы,
змеясь от кухни к постели.
Тоска!.. Смолы я чернее
и черной тьмою одета.
О юбки мои кружевные!
О бедра мои – страстоцветы!
— Омойся росой зарянок,
малиновою водою,
и бедное свое сердце
смири, Соледад Монтойя...

Плеснули певчие реки
крылом листвы и зенита.
Новорожденное утро
цветами тыквы повито.
Тоска цыган вековая
чиста и так одинока!
Тоска иного рассвета
и потайного истока...

Неверная жена

И в сумерках на излучку
увел я жену чужую,
а думал найти подругу.

То было ночью Сант-Яго,
и, словно сговору рады,
в округе огни погасли
и замерцали цикады.
Я сонных грудей коснулся,
последний проулок минув,
и жарко они раскрылись
кистями ночных жасминов.
А юбки, шурша крахмалом,
в ушах у меня дрожали,
как шелковая завеса,
раскромсанная ножами.
Врастая в безлунный сумрак,
ворчали деревья глухо,
и дальним собачьим лаем
за нами гналась округа...

За голубой ежевикой
у тростникового плеса
я в белый песок впечатал
ее смоляные косы.
Я сдернул шелковый галстук.
Слетела шаль ее следом.
Легли четыре корсажа,
На мой ремень с пистолетом.
Ее жасминная кожа
светилась жемчугом теплым,
нежнее лунного света,
когда он льется по стеклам.
А бедра ее метались,
как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнем горели.
И лучшей в мире дорогой
до первой утренней птицы
меня несла этой ночью
атласная кобылица...

Тому, кто слывет мужчиной,
нескромничать не пристало,
и я повторять не стану
слова, что она шептала.
В песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
Кинжалы тревовых лилий
вдогонку рубили ветер.

Я вел себя так, как должно,
цыган до смертного часа.
Я дал ей ларец на память
и больше не стал встречаться.
Поверил я обещаньям,
когда повел на излуку.
Но лгунья была замужней,
а я ведь искал подругу.

Цыганка-монахиня

Безмолвье мирта и мела.
И мальвы в травах ковровых.
Она левкой вышивает
на желтой ткани покрова.
Кружится свет семиперый
над серою сетью лампы.
Собор, как медведь цыганский,
ворчит, поднимая лапы.
А шьет она так красиво!
Склонясь над иглой в экстазе,
всю ткань бы она покрыла
цветами своих фантазий!
Какие банты магнолий
в росинках блессток стеклянных!
Как лег на складки покрова
узор луны и шафрана!
Пять апельсинов с кухни
дохнули прохладой винной.
Пять сладостных ран Христовых
из альмерийской долины.
В зрачках раздвоился всадник
и сник за стеклом оконным.
Тугую грудь колыхнуло
последним отзвуком конным.
И от далеких нагорий
с дымною мглой по ущельям
сжалось цыганское сердце,
полное медом и хмелем.
Как накренилась равнина
и полыхнула закатом!
Как запрокинулись реки
и понесли к перекатам!..
Но снова цветы на ткани,
И, по-вечернему кроткий,
в шахматы с ветром играет
свет за оконной решеткой.

Сан-Мигель. Гранада

Горы, и горы, и горы,
и на горах полусонных
мулы и тени от мулов,
грузные, словно подсолнух.

В вечных потемках ущелий
взгляд их теряется грустно.
Хрустом соленых рассветов
глохнут воздушные русла.

У белогривого неба
ртутные очи померкли,
дав холодеющей тени
успокоение смерти.

И, чтоб никто их не трогал,
стынут, безумны и голы,
стужей повитые реки,
горы, и горы, и горы...

В тиши своей голубятни,
на башне в зелени хмеля
кольцом огней опоясан
высокий стан Сан-Мигеля.
В руке полночные стрелки
спаяв меча крестовиной,
ручной архангел рядится
в пернатый гнев соловьиный.
Дыша цветочным настоем,
в тоске по свежим полянам
эфеб трехтысячной ночи
поет в ковчеге стеклянном.

Танцует ночное море
поэму балконов лунных.
Сменила тростник на шепот
луна в золотых лагунах.
Красотки, соря лузгою,
стекаются к парапетам.
Во мраке смутные крупы
подобны медным планетам.
Гуляет знать городская,
и дамы с грустною миной,
смуглея, бредят ночами
своей поры соловьиной.
И на торжественной мессе,
слепой, лимонный и хилый,
мужчин и женщин с амвона
корит епископ Манилы.

Один Сан-Мигель на башне
покоится среди мрака,
униженный зеркалами
и знаками зодиака, —
владыка нечетных чисел
и горних миров небесных
в берберском очарованье
заклятий и арабесок.

Сан-Рафаэль. Кórдова

I

Сумрачно стынут повозки
за тростниками, где струи
ластятся к римскому торсу,
мрамор нагой полируя.
Гвадалквивир вереницей
катит их в зеркале светлом
по грозovým отголоскам
и гравированным веткам.
И, доплетая циновки,
дети о горестях мира
поют у старых повозок,
во тьме затерянных сирот.
Но Кórдову не печалют
ни мир, ни его обманы,
и как ни возводит сумрак
затейливые туманы —
нетленной стопой мрамор
впечатан в откос песчаный.
И хрупким узором жести
дрожат лепестки флюгарок
на серой завесе бриза
поверх триумфальных арок.
И десять вестей Нерее
мостами спешат к атланту,
пока сквозь проломы вносят
табачную контрабанду.

II

Одна лишь речная рыбка
иглой золотой сметала
Кórдову ласковых плавней
с Кórдовою порталов.
Сбрасывают одежды

дети с бесстрастным видом;
тоненькие Мерлины,
ученики Товита,
они золотую рыбку
лукавой загадкой бесят,
самой предлагая выбрать
вино или полумесяц.
Но рыбка их заставляет,
туманя мрамор холодный,
перенимать равновесье
у одинокой колонны,
где сарацинский архангел,
блеснув чешуей доспеха,
когда-то в волнах гортанных
обрел колыбель и эхо...

Одна золотая рыбка.
Две Кóрдовы под луною.
Расколота теченьем
наедине с неземною.

Сан-Габриэль. Севилья

I

Высокий и узкобедрый,
стройней тростников лагуны,
идет он, кутая тенью
глаза и грустные губы;
поют горячие вены
серебряною струною,
а кожа в ночи мерцает,
как яблоки под луною.
И туфли мерно роняют
в туманы лунных цветений
два такта грустных и кратких
как траур облачной тени.
И нет ему в мире равных —
ни пальмы в песках кочевий,
ни короля на троне,
ни в небе звезды вечерней.
Когда над яшмовой грудью
лицо он клонит в моление,
ночь на равнину выходит,
чтобы упасть на колени.
И укротителя горлиц,
чуждого ивам печальным,
Сан-Габриэля встречают
звоном гитар величальным.

— Когда в материнском лоне
зальется дитя слезами,
ты вспомни про тех цыганок,
что бисер тебе низали!

II

Анунсиасьон де лос Рейес
окраиною ночью
проходит, кутая плечи,
лохмотьями и луною.
И с лилией и улыбкой
Хиральды прекрасный правнук,
стоит Габриэль-архангел —
и нет ему в мире равных.
Таинственные цикады
по бисеру замерцали.
А звезды по небосклону
рассыпались бубенцами.
— О Сан-Габриэль, трикратно
меня пронизало счастье!
Сиянье твое жасмином
мои холодит запястья.
— Пошли тебе Бог отраду,
о смуглое чудо света!
Дитя у тебя родится
прекрасней ночного ветра.
— Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Сплела б тебе в изголовье
гвоздики и горицветы!
— Пошли тебе Бог отраду,
звезда под бедным нарядом!
Найдешь ты в груди сыновней
три раны с родинкой рядом.
— Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Как ноет под левой грудью,
теплом молока согретой!
— Пошли тебе Бог отраду,
сто внуков на ста престолах!
Твои горячие очи
тоскливей пустошей голых.

Дитя запевает в лоне
у матери изумленной.
Дрожит в голосочке песня
миндалинкою зеленой.
Архангел растаял в небе
над улицами пустыми...

А звезды на небосклоне
бессмертниками застыли.

Как схватили Антоньито Эль Камборьо на севильской дороге

Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо в третьем колене,
шел с веткой ивы в Севилью
смотреть быков на арене.
И были зеленолунны
его смуглоты отливы.
Блестело, упав на брови,
крыло вороненой гривы.
Лимонов на полдороге
нарвал он в тени привала
и долго бросал их в воду,
пока золотой не стала.
И где-то на полдороге,
под топодем на излучке,
ему впятером жандармы
назад заломили руки.

День отступает к морю,
закат на плечо набросив,
и стелет багряный веер
поверх ручьев и колосьев.
И снится ночь Козерога
оливам пустоши жгучей,
а конный ветер гарцует,
будя свинцовые кручи.
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо в третьем колене,
среди пяти треуголок
бредет без ветки как пленник.

Антоньо! И это ты?
Да будь ты цыган на деле,
здесь пять бы ключей багряных,
стекая с ножа, запели!
И ты еще сын Камборьо?
Подкинут ты в колыбели!
Один на один со смертью,
бывало, в горах сходились.
Да вывелись те цыгане!
И пылью ножи покрылись...

Открылся засов тюремный,
едва только девять било.

А пятерым жандармам
ситро подкрепило силы.

Закрылся засов тюремный,
едва только девять било...
А небо в ночи сверкало,
как круп вороной кобылы!

Смерть Антоньито Эль Камборьо

Замер за Гвадалквивиром
смертью исторгнутый зов.
Взмыл окровавленный голос
в вихре ее голосов.
Рвался он раненым ведром,
бился у ног на песке,
взмыленным телом дельфина
взвился в последнем броске;
вражеской кровью омыл он
свой кармазинный платок.
Но было ножей четыре,
и выстоять он не мог.
И той порой, когда звезды
ночную воду калят,
когда плащи горицветов
дурманят сонных телят,
древнего голоса смерти
замер последний раскат.

Антоньо Торрес Эредья,
прядь – вороненый виток,
зеленолунная смуглость,
голоса алый цветок!
Кто напоил твоей кровью
этот сыпучий песок?
– Четверо братьев Эредья
мне приходились сродни.
То, что другому прощалось,
мне не простили они —
и туфли цвета коринки,
и то, что перстни носил,
и что меня на оливках
с жасмином Бог замесил.
– Ай, Антоньито Камборьо,
лишь королеве под стать!
Вспомни Пречистую Деву —
время пришло умирать.
– Ай, Федерико Гарсиа,
оповести патрули!
Я, как подрезанный колос,

больше не встану с земли.

Он умер, голову вскинув
и рану зажав рукой.
Живая медаль – и миру
второй не отлить такой.
Под голову лед подушки
кладет ему серафим.
И смуглых ангелов руки
зажгли лампаду над ним.
И когда четверо братьев
въехали в город ночной,
Гвадалквивир отголоски
смертной повил тишиной.

Загубленный любовью

– Что же там светится ночью
так высоко и багрово?
– Сынок, одиннадцать било,
пора задвинуть засовы.
– Четыре огня все ярче —
и глаз отвести нет мочи.
– Наверно, медную утварь
там чистят до поздней ночи.

Чесночная долька ртути,
тускнела луна от боли,
роняя желтые кудри
на желтые колокольни.
По улицам кралась полночь,
стучась у закрытых ставней,
а следом за ней собаки
гнались стоголосой стаей,
и винный янтарный запах
блуждал, над террасой тая.

Сырая осока ветра
и старческий шепот тени
под ветхою аркой ночи
будили гул запустенья.
Уснули волны и розы.
И только в оконной створке
четыре огня взывали,
как гневный Святой Георгий.
Грустили невесты-травы,
а кровь застывала коркой,
как сорванный мак, сухою,
как юные бедра, горькой.
Рыдали седые реки,

в туманные горы глядя,
и в замерший миг вплетали
обрывки имен и прядей.
А ночь квадратной и белой
была от стен и балконов.
Цыгане и серафимы
коснулись аккордеонов.
– Если умру я, мама,
будут ли знать про это?
Синие телеграммы
ты разошли по свету!..

Семь воплей, семь ран багряных,
семь диких маков махровых
разбили тусклые луны
в залитых мраком альковах.
И зыбью рук отсеченных,
венков и спутанных прядей
Бог знает где отозвалось
глухое море проклятий.
И в двери ворвалось небо
лесным рокотаньем дали.
А в ночь с галерей высоких
четыре луча зывали.

Романс обреченного

Как сироты все и устало!
Два конских ока огромных
и два зрачка моих малых
и днем и ночью на страже,
и сон покинул дозорных,
а сам уплыл, развевая
тринадцать вымпелов черных.
Они все смотрят на север,
от ночи к ночи бессонней,
и видят руды и кручи
в дали, где стыну на склоне,
колоду карт ледяную
тасуя в мертвой ладони...

Тугие волны речные
в осоке и остролистах
подхватывали мальчишек
на луны рогов волнистых.
А молоточки пели
сомнамбулическим звоном,
что едет бессонный всадник
верхом на коне бессонном.

Двадцать шестого июня
свечи зажгли в трибунале.
Двадцать шестого июня
карты судьбу его знали:
– Можешь срубить олеандры
за воротами своими.
Крест начерти на пороге
и напиши свое имя.
Взойдет над тобой цикута
и семя крапивы злое,
и в ноги сырая известь
вонзит иглу за иглою.
И будет то черной ночью
в магнитных горах высоких,
где только волы речные
пасутся в ночной осоке.
Учись же скрещивать руки,
готовь лампаду и ладан
и пей этот горный ветер,
холодный от скал и кладов.
Ровно два месяца сроку
до погребальных обрядов.

Мерцающий млечный меч
Сант-Яго из ножен вынул.
Прогнулось ночное небо,
глухой тишиною хлынув.

Двадцать шестого июня
глаза он открыл – и снова
закрыв их, уже навеки,
августа двадцать шестого...
Люди сходились на площадь,
где у стены на каменья
сбросил усталый Амарго
груз одинокого бденья.
И как обрывок латыни,
прямоугольной и точной,
замер и смерть упокоил
край простыни непорочной.

Романс об испанской жандармерии

Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
затянуты в портупею

сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую тьму молчанья.
От них никуда не деться —
скачут, тая в глубинах
тусклые зодиак
призрачных карабинов.

О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква,
играет настой черешен.
И кто увидал однажды —
забудет тебя едва ли,
город имбирных башен,
мускуса и печали!

Ночи, кудесницы ночи
синие сумерки пали.
В маленьких кузнях цыгане
солнца и стрелы ковали.
Конь у порога плакал
и жаловался на раны.
В Хересе-де-ла-Фронтера
петух запевал стеклянный.
А ветры, нагие ветры,
слетались поодиночке
в сумрак, серебряный сумрак
ночи, кудесницы ночи.

Иосифу и Марии
невесело на гулянье —
пропали их кастаньеты.
Не выручат ли цыгане?
На зависть жене алькальда
воскресный наряд Пречистой,
блистает фольгой накидка,
бренчит миндалем монисто.
И плащ Иосифа мреет,
как шелковая сутана.
А вслед Домэк-виноградарь
и три заморских султана.
Завороженно замер
дремотным аистом месяц.
Взлетают огни и флаги
пролетами гулких лестниц.
В ночных зеркалах рыдая,
безбедные пляшут тени.
В Хересе-де-ла-Фронтера —
полуночь, роса и пенье.

О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен...
Гази зеленые окна —
все ближе черные стражи!
Забыть ли тебя, мой город!
В тоске о морской прохладе
ты спишь, разметав по камню
не знавшие гребня пряди...

Они въезжают попарно —
а город поет и пляшет.
Бессмертников мертвый шорох
врывается в патронташи.
Они въезжают попарно,
спеша, как черные вести.
И связками шпор звенящих
мерещатся им созвездья.

А город гонит заботы,
тасуя двери предместий...
Верхами сорок жандармов
въезжают в говор и песни.
Оцепенели куранты
на кафедрале высоком.
Выщвел коньяк в бутылке
и притворился соком.
Застигнутый криком флюгер
забился, слетая с петель.
Зарубленный свистом сабель,
упал под копыта ветер.

Снуют старухи цыганки
в ущельях мрака и света,
мелькают сонные пряди,
мерцают медью монеты.
А крылья плащей зловещих
вдогонку летят тенями,
и ножницы черных вихрей
смыкаются за конями...

У Вифлеемских ворот
сгрудились люди и кони.
Над мертвой простер Иосиф
израненные ладони.
А ночь полна карабинов,
и воздух рвется струною.
Детей Пречистая Дева
врачует звездной слюною.
И снова скачут жандармы,
кострами ночь обжигая,
и бьется в пламени сказка,

прекрасная и нагая.
И стонет Роса Камборьо,
сжимая в пальцах точеных,
поднос, где замерли чаши
ее грудей отсеченных.
Плясуњи, развеяв косы,
бегут, как от волчьей стаи,
и розы пороховые
взрываются, расцветая...
Когда же пластами пашни
легла черепица кровель,
заря в беспмятстве пала
на мертвый каменный профиль...

О мой цыганский город!
Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья,
а ты – пожаром охвачен.
Забыть ли тебя, мой город!
В глазах у меня отныне
пусть ищут твой дальний отсвет.
Игру луны и пустыни.

Три исторических романса

Мучения Святой Олайи

Панорама Мерида

На улице конь играет,
и по ветру бьется грива.
Зевают и кости мечут
седые солдаты Рима.
Ломают гора Минервы
иссохшие пальцы тиса.
Вода взлетит над обрывом
и вниз, как мертвая птица.
Рваные ноздри созвездий
на небосводе безглазом
ждут только трещин рассвета,
чтоб расколоться разом.
Брань набухает кровью.
Вспугнутый конь процокал.
Девичий стон разбился
брызгами алых стекол.
Свищет точильный камень,
и рвется огонь из горна.
Быки наковален стонут,
сгибая металл упорно.
И Мэриду день венчает

короной из роз и терна.

Казнь

Взбегает нагая зелень
ступеньками зыбкой влаги.
Велит приготовить консул
поднос для грудей Олайи.
Жгутом зеленые вены
сплелись в отчаянном вздохе.
В веревках забилося тело,
как птица в чертополохе.
И пальцы рук отсеченных
еще царапают плиты,
словно пытаюсь сложиться
в жалкий обрубок молитвы,
а из багровых отверстий,
где прежде груди белели,
видны два крохотных неба
и струйка млечной капли.
И кровь ветвится по телу,
а пламя водит ланцетом,
срезая влажные ветви
на каждом деревце этом, —
словно в строю серолицем,
в сухо бряцающих латах,
желтые центурионы
шествуют мимо распятых...
Бушуют темные страсти,
и консул поступью гордой
поднос с обугленной грудью
проносит перед когортой.

Глория

Снег оседает волнисто.
С дерева виснет Олайя.
Инистый ветер чернеет,
уголь лица овевая.
Полночь в упругих отливах.
Шею Олайя склонила.
Наземь чернильницы зданий
льют равнодушно чернила.
Черной толпой манекены
заполонили навеки
белое поле и ноют
болью немого калеки.
Снежные хлопья редуют.

Снежно белеет Олайя.
Конницей стелется никель,
пику за пикой вонзая.

Светится чаша Грааля
на небесах обожженных,
над соловьями в дубравах
и голосами в затонах.
Стеклами брызнули краски.
Белая в белом Олайя.
Ангелы реют над нею
и повторяют: – Святая...

Небылица о доне Педро и его коне Романс с размытым текстом

Едет верхом дон Педро
вниз по траве пригорка.
Ай, по траве пригорка
едет и плачет горько!
Не подобрав поводья,
Бог весть о чем тоскуя,
едет искать по свету
хлеба и поцелуя.
Ставни, скрипя вдогонку,
спрашивают у ветра,
что за печаль такая
в сердце у дона Педро...

На дно затоки
уплыли строки.
А по затоке
плывет, играя,
луна —
и с высот небесных
завидует ей вторая.
Мальчик
с песчаной стрелки
смотрит на них и просит:
– Полночь, ударь в тарелки!

...Вот незнакомый город
видит вдали дон Педро.
Весь золотой тот город,
справа и слева кедры.
Не Вифлеем ли? Веет
мятой и розмарином.
Тает туман на кровлях.
И к воротам старинным

цокает конь по плитам,
гулким, как тамбурины.
Старец и две служанки
молча открыли двери.
«Нет», – уверяет тополь,
а соловей не верит...

Под водою
строки плывут чередою.
Гребень воды качает
россыпи звезд и чаек.
Сна не тревожит ветер
гулом гитарной деки.
Только тростник и помнит
то, что уносят реки.

...Старец и две служанки,
взяв золотые свечи,
к белым камням могильным
молча пошли под вечер.
Бедного дона Педро
спутник по жизни бранной,
конь, непробудно спящий,
замер в тени шафранной.
Темный вечерний голос
плыл по речной излучке.
Рог расколол со звоном
единорог разлуки.
Вспыхнул далекий город,
рухнул, горящий.
Плача, побрел изгнанник,
точно незрячий.
Подняли звезды
вьюгу.
Правьте, матросы,
к югу...

Под водою
слова застыли.
Голоса затерялись в иле.
И среди ледяных соцветий —
ай! – дон Педро лягушек тешит,
позабывший всеми на свете.

Фамарь и Амнон

Луна отраженья ищет,
напрасно кружа по свету, —
лишь пепел пожаров сеют
тигриные вздохи лета.

Как нервы, натянут воздух,
подобный ожогу плети,
и бляенье шерстяное
колышет курчавый ветер.
Пустыня к небу вызывает
рубцами плеч оголенных,
от белых звезд содрогаясь,
как от иголок каленых.

Ночами снится Фамари,
что в горле – певчие птицы,
и снятся льдистые бубны
и звуки лунной цевницы.
И гибким пальмовым ветром
встает нагая при звездах,
моля, чтоб жаркое тело
осыпал инеем воздух.
На плоской кровле дворцовой
поет под небом пустыни.
И десять горлинок снежных
в ногах царевны застыли.

И наяву перед нею
вырос Амнон на ступени,
смоль бороды задрожала,
пеною чресла вскипели.
Из-за решетки глядит он
полными жути глазами.
Стоном стрелы на излете
вдох на губах ее замер...
А он, рукой исхудалой
обвив железные прутья,
в луну впивается взглядом
и видит сестрины груди.

В четвертом часу под утро
в постель он лег, обессилив,
пустые стены терзая
глазами, полными крыльев.
Тяжелый рассвет хоронит
под бурым песком селенья —
на миг приоткроет розу,
на миг процветет сиренью.
Гудят водяные вены,
на дне кувшина немея.
В изгибах корней замшелых
шипят полусонно змеи.
Амнон на кровати стонет,
затихнет на миг – и снова
спаленное бредом тело
обвито плющом озноба.

Фамарь голубою тенью,
в немой тишине немая,
вошла – голубей, чем вена,
тиха, как туман Дуная.
– Фамарь, зарей незакатной
сожги мне грешные очи!
Моею кровью горячей
твой белый шелк оторочен.
– Оставь, оставь меня, брат мой,
и плеч губами не мучай —
как будто осы и слезы
роются стайкою жгучей!
– Фамарь, концы твоих пальцев,
как завязь розы, упруги,
а в пене грудей высоких
две рыбки просятся в руки...

Сто царских коней взбесились —
качнулась земля от гула.
Лозинку под ливнем солнца
до самой земли пригнуло.
Рука впивается в косы,
шуршит изодранной тканью.
И струйки теплым кораллом
текут по желтому камню.

О, как от дикого крика
все на земле задрожало!
Как над сумятицей туник
заполыхали кинжалы!
Мрачных невольников тени
по двору мечутся немо.
Поршнями медные бедра
ходят под замершим небом.
А над Фамарью цыганки,
простоволосы и босы,
еле дыша, собирают
капли растерзанной розы.
Простыни в запертых спальнях
метит кровавая мета.
Светятся рыбы и грозди —
влажные всплески рассвета.

Насильник от царской кары
уходит верхом на муле.
Напрасно вдогонку стрелы
нубийцы со стен метнули.
Забили в четыре эха
подков голубые луны.
И ножницы взял Давид —
и срезал на арфе струны.

